

# Размышления над книгой

К. О. РОССИЯНОВ

## МЕЖДУ СВОБОДОЙ И РАБСТВОМ. МОЖНО ЛИ РАССМАТРИВАТЬ СОВЕТСКУЮ НАУКУ КАК «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ»?

Заглавие вышедшей на английском языке книги А. Б. Кожевникова – «Великая сталинская наука. Жизнь и приключения советских физиков»<sup>1</sup> – способно вызвать оторопь. Постепенно приходящее понимание того, что в заглавии выражена суть позиции автора, делает книгу, состоящую из ранее опубликованных, позднее переработанных очерков, единым целым. Но в чем же позиция автора? Уяснить это тем более важно, что его воззрения до сих пор не привлекли к себе должного, на наш взгляд, внимания в сообществе историков отечественной науки. Если бы в названии работы Кожевникова упоминалась только «сталинская наука» без эпитета «великая», то можно бы было подумать, что перед нами еще одна книга, исследующая отношения «науки» и «власти», как принято у нас говорить, имея в виду под «властью» правительство. Возможно, в слове «великая» есть примесь иронии? Однако автор настаивает, что употребляет этот эпитет всерьез: никогда раньше российские физики не добивались таких научных успехов, престиж науки и доля национального дохода, направлявшегося на поддержку исследований, были в сталинском Советском Союзе выше, чем в других странах, включая Америку, не имели они, как полагает Кожевников, и прецедента в истории. Так значит, имеется в виду щедрая поддержка науки, компенсировавшая «издержки» репрессий и гонений? Тем более что заглавие может быть переведено и как «Великая наука Сталина» – наука под покровительством деспота, а мы ведь знаем, что выдающиеся ученые могут работать и в тиранических государствах. Но только ли это хочет сказать автор?

Говорят, в легендарном ИФЛИ<sup>2</sup> существовали две партии – «вопрекистов» и «благодаристов». Ожесточенные споры вызывал вопрос об идеологии и художественных достижениях Бальзака: вопреки или благодаря собственным роялистским симпатиям Бальзак смог глубоко проникнуть в жизнь нового буржуазного общества? И здесь при анализе событий, описываемых Кожевниковым, мы также сталкиваемся с ограниченностью дихотомического видения. Одни и те же факторы, утверждает автор, стояли и за успехами, и за провалами сталинской модели науки. Советская наука развивалась «вопреки» сталинизму – мертвящей догматической идеологии – и оправдывавшемуся

<sup>1</sup> *Kojevnikov, A. B. Stalin's Great Science. The Times and Adventures of Soviet Physicists. London, 2004.*

<sup>2</sup> ИФЛИ – Институт истории, философии, литературы, существовал в 1931–1941 гг.

этой идеологией вмешательству в науку? Но можно ли «абсурдной идеологии» противопоставить «здоровые государственные интересы», заставлявшие поддерживать науку, коль скоро необходимость ускоренного ее развития – ради строительства социализма, тем более в отсталой стране, – была неотъемлемой частью идеологии?

Так, может быть, советская наука развивалась и пользовалась высоким престижем как раз «благодаря» сталинизму? И сталинизм как разновидность абсолютной, деспотической власти был полезнее для развития науки, чем строй демократических посредственностей, требующих от нее немедленной практической выгоды? Но эта старая как мир идея сталкивается здесь с очевидной трудностью: представляя собой иерархически организованную систему власти, сталинизм, как утверждает автор, был заинтересован в известных формах контроля снизу, поддерживая, в частности, «критику и самокритику», хотя, разумеется, в определенных сверху пределах. То, что диктаторы поощряют ссоры и споры подчиненных, позволяющие им получать жизненно важную информацию, мы хорошо знаем, но о критике и самокритике впервые, пожалуй, задумываемся как о важном социальном механизме, читая книгу Кожевникова. Советская и партийная демократия с ее методами критики снизу предстают, разумеется, не как образец («высшая форма демократии», как утверждалось в газетах) и не как пустой лозунг, но как важный элемент системы, во многом определивший, наряду с высокой социальной мобильностью, ее жизнеспособность. Какое отношение, однако, все это имеет к истории советской науки?

Самое прямое, полагает Кожевников, поскольку позволяет по-новому увидеть тот период в истории советской науки, о котором, пожалуй, больше всего писали, но который остался, по убеждению автора, меньше всего понят, – период послевоенных кампаний, или «дискуссий», в науке. Вопросы, которые ставит при этом автор, чрезвычайно важны для уяснения замысла книги, что заставляет нас отказаться от последовательного рассмотрения книги по отдельным ее разделам, перейдя непосредственно к посвященным послевоенным дискуссиям главам 8 и 9.

По мысли Кожевникова механизмы низовой критики и самокритики, а также «творческих дискуссий» использовались после войны не для усиления контроля над учеными и интеллигенцией, что выглядело бы естественным в обстановке начинавшейся «холодной войны», а для цели совсем иной – чтобы стимулировать прогресс самой науки доступными для сталинской политической культуры средствами. Версия эта резко расходится с существующими мнениями – по сути дела нам предлагают согласиться с утверждением Сталина (в статье «Марксизм и вопросы языкознания», 1950 г.) о важности критики и о вреде нетерпимости к ней – гибельности «аракчеевского режима» в науке. Был ли этот призыв чистой воды лицемерием или, как полагает Д. Журавский, Сталин к 1950 г. осознал изъяны созданной им системы, решившись отвести критике хотя бы какое-то место? <sup>3</sup> Как утверждает Кожевников, понимание важности критики снизу существовало и раньше, особенно усилившись в по-

<sup>3</sup> *Joravsky, D. The Lysenko Affair. Chicago; London, 1970. P. 150–151.*

слевоенное время, когда наука стала значимым фактором в противостоянии с Западом.

Кажущаяся противоречивость и неправдоподобность подобной версии связана с тем, что мы привыкли связывать сталинизм, по крайней мере в зрелой его разновидности, с образом единственной, канонической истины, воцарившейся не только в идеологии, но и пытающейся подчинить себе науку и культуру в целом. Однако демонстративное единство вокруг провозглашаемой истины, как это произошло в ходе целого ряда научных кампаний, – лишь финал процесса, не очевидный на ранних его стадиях. Насильственное, в духе сталинизма, разрешение противоречий (часто оформлявшееся в ходе специального заседания или сессии) и установление принудительной истины, что столь несвойственно для науки, предстает перед читателем как некая парадоксальная гиперреакция на разногласия. Парадоксально и может быть сложно для восприятия здесь то, что сверхреакции бы скорее всего не было, если бы разногласия и дискуссии не допускались в достаточно широких пределах, либо не стимулировались бы сверху.

Важно, что здесь мы имеем дело не только с закулисными интригами и заключением союзов между различными группами ученых и бюрократов, но и с ведшимися в течение продолжительного времени обсуждениями и дискуссиями. Их участники могли использовать «политический ресурс» и оставаться при этом в рамках «свободной дискуссии» – все дело в том, что ученые могли апеллировать ко все более высоким представителям политического руководства, жалуясь на некомпетентное вмешательство в научные разногласия руководителей более низкого уровня. И невозможно было предсказать ни то, когда та или иная дискуссия завершится, ни то, насколько высокопоставленные руководители выступят в роли третьей стороны.

Возможно, сталинская научная политика была более восприимчивой к сигналам снизу, чем брежневская. Но неужели автор хочет сказать, что послевоенные дискуссии действительно принесли пользу науке? Разумеется, нет. Кто может оценить «издержки» – сломленные судьбы, загубленные научные направления и вывести баланс «вреда» и «пользы»? Что Кожевников действительно утверждает, так это то, что «дискуссии» не следует рассматривать как свидетельство заведомой дисфункциональности советской сверхцентрализованной системы, напротив, они, по его мнению, были попыткой найти лекарство, противоядие против собственных пороков.

Читатель книги Кожевникова оказывается перед выбором – принять тезис автора о значении дискуссий для стимуляции развития науки или согласиться с объяснением кампаний усиливающейся после войны необходимостью политического контроля. Скорее всего выбор этот сделать нельзя, поскольку в чистом виде ни стимуляции, ни контроля мы не найдем. Контроль в его наиболее яркой форме (и страх его потерять) мы можем увидеть на заключительной стадии «дискуссии», но эта «постановочная» часть как раз и была обычно финалом более длительного процесса – свидетельство того, что в политической культуре сталинизма находилось достаточно места для разногласий и дискуссий. Очевидно, что готовность высшего политического руководства выступать в роли конечного арбитра в научных спорах – яркое свидетельство стремления контролировать, особенно усилившегося после войны, и одно-

временно парадоксальное, извращенное логикой сталинской системы проявление внимания к науке. В том, что выбор между стремлением поддерживать и стремлением контролировать невозможен, в неразделимости «благодаря» и «вопреки» как раз и заключается, по-видимому, основной вывод, который можно сделать из рассказанного автором.

Утверждение нового невозможно, по-видимому, без разрыва с привычными, ставшими практически очевидными представлениями. Новое же в книге Кожевникова заключается в том, что послевоенные кампании предстают в ней как следствие внутринаучных противоречий, в разрешение которых государство пытается вмешиваться; катастрофичность последствий объясняется, скорее, непониманием сути научных проблем и природы научных дискуссий, чем изначально присутствующим желанием подчинить ученых государству. Подобное объяснение покажется искусственным и, возможно, ненужным и излишним тем, кто видит содержание послевоенных кампаний в подчинении науки «идеологии».

Поэтому вопрос об «идеологическом диктате» заслуживает в рамках настоящего обзора отдельного рассмотрения. Уже в 1948 г. Сталин фактически отказался от представлений о классовой природе науки и тем самым исключил ее из состава идеологической надстройки<sup>4</sup>. Нет ни единого, по-видимому, случая, когда наукой решались бы пожертвовать ради «правильной», желательной идеологии. Нет и обратных примеров, когда «идеологией» жертвовали бы ради той или иной отрасли науки, почему-либо важной с точки зрения государственных, стратегических интересов. Обращаясь к судьбе послевоенной генетической дискуссии, наиболее, пожалуй, изученной историками, мы отдаем себе отчет в том, что лысенковщина, которую поддерживал Сталин, была не чем иным как лженаукой, и это, в свою очередь, заставляет нас задаваться вопросом о причинах, заставивших предпочесть ее науке. Но не заходим ли мы слишком далеко, приписывая наше понимание научности и ненаучности Сталину? Поддерживая лысенковщину, он, по-видимому, искренне верил, что помогает «истинной науке», и в этом, в частности, один из выводов, который можно извлечь, анализируя правку Сталиным текста доклада, который Лысенко предстояло сделать на сессии ВАСХНИЛ 1948 г., – главной, по-видимому, «идеологией» была вера в научную правильность идеи наследования приобретенных признаков и тем самым в ее практическую плодотворность<sup>5</sup>. Почему поддержка, оказанная генетике незадолго до сессии ВАСХНИЛ заведующим отделом науки ЦК ВКП(б) Ю. А. Ждановым, – это проявление здравого смысла, а вера Сталина в правоту лысенковских идей – «идеология»? Почему, навязывая советским гражданам и широко пропагандируя за границей «мичуринскую биологию», советское руководство находилось в плену «идеологии», а поддерживая подлинную науку в языкознании и отвергая марризм, – уступало реальности?

Подобная интерпретация событий в послевоенной советской науке очевидно не совпадает с видением ситуации самими учеными, ведь отличие

<sup>4</sup> Там же.

<sup>5</sup> *Rossianov, K. Editing Nature: Joseph Stalin and the “New” Soviet Biology // Isis. 1993. Vol. 84. P. 728–745.*

«лженауки» от науки было для большинства из них в конце 1940-х гг. очевидным. Лженаука выглядела как представительница иного, чуждого мира – как ряженая в научные одежды «идеология», ибо что же еще могло заставить государство защищать очевидно абсурдные для них, ученых, идеи? И все-таки в действиях государственного руководства нам видится не отрицание объективности науки или научной картины мира, а, скорее, плохое и, самое главное, устаревшее понимание происходившего в науке. Так, например, еще в середине 1930-х гг. критика генетики со стороны Лысенко и его сторонников казалась обоснованной многим настоящим ученым, а еще раньше его работы по физиологии растений абсолютно восторженно приветствовались многими из будущих оппонентов<sup>6</sup>. В результате мобилизация ученых на борьбу со лженаукой заставила забыть о том, что различие между ней и подлинной наукой не было для них ранее столь резким и само собой разумеющимся.

Граница между миром ученых и миром политиков в сталинские времена предстает перед читателем книги Кожевникова как вполне очевидная, но очевидность эта, скорее, антропологическая: граница проходит между двумя культурами, а различия касаются даже таких вещей, как манера одеваться и особенности речи. Из общего ряда выбивался, на наш взгляд, Лысенко, но исключение скорее подтверждает правило: Лысенко отличался не только от большинства ученых, но столь же резко и от тех, кто выступал в ходе послевоенных кампаний не на стороне «подлинной» науки, например, от И. И. Мещанинова или К. М. Быкова. Существование и, главное, устойчивость границы заслуживают объяснения, на чем мы предпочли бы остановиться позднее. Но важно, что не стоит хвататься за объяснение самое простое, и не обязательно самое верное – сводить различия к очевидной, изначальной дихотомии знания и идеологии. Ведь граница между миром науки и миром политики становится тогда подлинно непроницаемой: какого бы то ни было взаимодействия между ними на уровне идей и ценностей попросту нет и не может быть – то, что приходит в науку из политики, сразу же и безошибочно маркируется учеными как идеология. Единственное, что остается историку, – это оперировать двумя моделями: конфронтации и «материального» взаимовыгодного обмена – поддержка и финансирование ученых обмениваются на прагматически значимые результаты. Надо ли говорить, что выбор моделей, используемых для анализа истории науки на Западе, намного богаче: политическая идеология, религия, культурные симпатии и идиосинкразии рассматриваются как влияющие на науку и даже формирующие ее повестку дня, а не отделенные от нее глухой стеной или линией фронта. На это обычно отвечают, что, анализируя советскую науку, мы имеем дело с «особым случаем». Но так ли это на самом деле?

Книга Кожевникова демонстрирует, что и в советском случае возможно значительно более разностороннее описание, учитывающее различные виды взаимодействия. Как мы могли убедиться, в науку импортируются политические ритуалы и правила игры, которые учеными активно заимствуются и используются. Правила, укорененные в политической культуре сталинизма, но не диктуемые идеологией, ее непосредственно доктринальным содержанием.

<sup>6</sup> См.: *Roll-Hansen, N. The Lysenko Effect: The Politics of Science*, Amherst, N.Y., 2004.

Разумеется, то, что ученые и политики играют в одни и те же игры, не ставит их на одну доску и не уравнивает моральное и аморальное поведение; но все-таки ученые, получается, следуют правилам, придуманным политиками. Не унижительно ли это, в конечном счете, для науки и ученых?

По-видимому, нет, ибо автор рассматривает еще один вид заимствования, или импорта из мира политики, при этом речь идет уже не о ритуалах и правилах, а о «настоящей» политической идеологии, но предстающей при этом в удивительно жалком для сторонника теории идеологического диктата виде: идеологически нагруженные понятия выступают в качестве своего рода «сырья», ресурса научного творчества, находя применение для построения новых научных теорий. Речь, таким образом, больше не идет о пассивном заимствовании готового «содержания» – доктринальной идеологии либо «формы» – ритуалов и правил поведения, – но о коренной переработке и переосмыслении заимствованного.

Этой теме посвящены две интереснейшие, хотя и, пожалуй, наиболее трудные в силу своей физической специфики для восприятия неспециалиста главы книги – третья и десятая, в которых автор ступает на абсолютно новую, не освоенную еще исследователями территорию. Речь в них идет об открытии нового класса физических систем с сильно взаимодействующими элементами, не являющимися в рамках данных систем ни полностью «свободными», ни «порабощенными». По мнению Я. И. Френкеля, высказывания которого автор обильно цитирует в начале третьей главы, электроны в проводниках «свободны», «не порабощены» больше отдельными атомами, но одновременно «коллективизированы», принадлежа всем атомам проводника в совокупности. Вопрос, возникающий при чтении этой главы, заключается в следующем: в какой степени политические метафоры – сам использовавшийся при описании язык – помогли физикам понять, что в данном случае они имеют дело с чем-то принципиально новым?

«Коллективизированные электроны», «сплошная коллективизация», «насилованная коллективизация», электрон как «раб» отдельного атома или «коллектива» атомов, «освобождение» электрона – все эти использовавшиеся Френкелем метафоры можно было бы объявить «просто словами» – политическими «слоганами», заимствуемыми из повседневной лексики и не переносимыми из политики в науку никакого существенного содержания. Но случайно ли, задается вопросом Кожевников, физики, писавшие вслед за Френкелем о новом классе физических систем и составляющих их элементах, позднее получивших название «псевдочастиц», отличались социалистическими симпатиями? При чем для них – И. Е. Тамма, Л. Д. Ландау, Д. Бома – чрезвычайно много значила проблема сохранения свободы в условиях жизни в «коллективистском» обществе. Кожевников цитирует американского физика Бома, для которого «коллективистский» подход к описанию плазмы был одновременно способом выстроить модель общества, сочетающего две основополагающие для социалиста ценности: свободу личности и важность «коллектива», не лишаящего в то же время личность ее автономии (с. 271–272).

Речь при этом шла о неких общих принципах, помогающих осмыслить как устройство общества, так и природу. Очевидно, примеры подобного влияния мировоззрения ученого на его исследования не представляют собой чего-то

исключительного: так, мальтузианство – вера в реальность и неизбежность перенаселения – заставило Ч. Дарвина думать о борьбе за существование как о главном факторе эволюции; с тем большей уверенностью представление о благодетельности подобной борьбы было затем социал-дарвинистами (включая самого Дарвина) перенесено и на общество. Но в нашем случае самое интересное, как представляется, начинается тогда, когда возможность достичь равновесия между личной свободой и благом коллектива оказывается абсолютной химерой, чем-то, что не находит и не может найти воплощения в реальности сталинского социализма. Что стало с языком «коллективизации» и «свободы»? Можно предположить, что, используя эту уже отчужденную от идеалов газетную лексику, ученые фиксируют то, что «видят» в природе, не вкладывая в политические термины какого-либо личного смысла, как, собственно, и утверждает один из рецензентов книги Кожевникова <sup>7</sup>.

Однако едва ли можно ожидать от напряженно раздумывающего над дилеммой свободы, что глубоко личная проблема заменится для него газетным штампом, – скорее он будет постоянно болезненно вспоминать о ней, либо же запретит себе о ней думать. Поразительно, что в текстах Френкеля с какого-то момента появляются «арестованные электроны», он также пишет о столь нередких в советской реальности «циклах» последовательных «арестов» и «освобождений», но пишет о них применительно к электронам. В качестве курьеза можно упомянуть и явление «самоареста» электронов (с. 253), что также, как это ни парадоксально, опиралось на происходившее в действительности: Кожевников цитирует зафиксированный случай – советская женщина, усомнившаяся в собственной преданности идеям коммунизма, обвинила себя в политическом преступлении и написала на себя донос. С какого-то момента метафоры отражают не только политические симпатии, но и личный опыт жизни в Советском Союзе: свобода и рабство не были проблемой выбора между двумя противоположными состояниями, подобный выбор был, как правило, уже невозможен; мыслим же был лишь бесконечный перебор вариантов, как будто удаляющих от состояния несвободы, но не делающих по-настоящему свободным, – утомительное «копашение» на узком для постороннего взгляда пяточке между свободой и рабством, на котором тем не менее могла пройти вся жизнь человека.

С другой стороны, сама несклонность физиков удовлетворяться «готовой» и естественной дихотомией свободы и рабства делала их, по мысли Кожевникова, чувствительными к проблематичным, «промежуточным» ситуациям в физическом мире, позволяя заметить то, чего не давали увидеть стереотипы. При этом важнейшая роль метафор заключается в том, чтобы остановить взгляд на каких-то особых свойствах физических объектов, снять с привычных предметов налет штампов. Эту роль можно, как нам представляется, сравнить с особым литературным приемом «остранения», используемым, согласно В. Б. Шкловскому, писателями для разрушения привычных ассоциаций и аллюзий, ставших уже частью стандартного, многократно повторенного описания какого-либо предмета, вещи или ситуации, – приемом, позволяющим читателю увидеть что-либо совершенно по-новому, как будто впервые.

<sup>7</sup> Горелик Г. Великая наука Сталина // Знание – сила. 2006. № 11. С. 115.

В том-то и дело, что политические метафоры в трактовке Кожевникова не служат для фиксации реальности, а связаны непосредственно с самой способностью видения, ибо до метафор не было и реальности. Эта их роль в создании содержания отмечалась историками мировой науки, но не науки советской. Реализуемый автором подход предполагает существование нередких, по-видимому, ситуаций, когда связи между наукой и политической идеологией не сводятся к заимствованию идей или одних только слов, терминов, потом уже наполняемых научным содержанием. Ведь значение метафор, в частности, тех, о которых пишет Кожевников, заключается не в том, что они привносят в науку инородное содержание, а, скорее, в том, что разрушают политическое содержание, уже в науке присутствующее, – в процессе столкновения как раз и может рождаться новое знание. Едва ли можно утверждать, что «свободные электроны», о которых говорили ученые задолго до работ советских физиков, не политическая метафора. И дело здесь, разумеется, не в том, что ученые неосторожны и находятся под влиянием идеологии – либеральной или социалистической, от чего их надо освободить. А в признании неизбежной нагруженности научного языка идеологическими значениями и плодотворности его, языка, нестерильности.

Возможно, рассказанное Кожевниковым стоит рассматривать как одну из версий истории псевдочастиц; бесспорная, однако, заслуга автора заключается в том, что предметом его анализа становятся обстоятельства появления на свет новых научных понятий, обстоятельства, которые историк как раз и призван освободить из-под позднейших «завалов» и наслоений. Ведь живые метафоры становятся для последующих поколений физиков действительно штампами, «мертвыми словами», и могут отвергаться, если не встраиваются в привычный мир политических и жизненных представлений, как это, в частности, произошло в позднейшей англо-американской физике со значительной частью «коллективистского языка», на смену которому пришла иная терминология. Понять процесс появления нового знания, а не только кумулятивного, постепенного его развития – чрезвычайно важно для историка, стремящегося к соединению роли собственно историка и ученого, исследователя науки.

Начав настоящий обзор с рассмотрения послевоенных дискуссий, мы перешли затем к вопросу о роли идеологии и политического языка в науке, оставив до времени в стороне проблему границ между миром советской политики и миром науки. До сих пор существование этих границ принималось нами как некая данность: интересовало лишь то, что сквозь них переносится, проникает, а не то, чему они обязаны своим существованием. Можно по крайней мере зафиксировать очевидный факт: в отношениях ученых и политиков было много отчуждения, настороженности и враждебности. Это отчуждение мы могли бы принять за исходную данность, составив нечто вроде антропологического описания двух племен, живущих на соседних территориях, эпизодически конфронтирующих и обменивающихся материальными дарами. Но богатство взаимоотношений и степень взаимодействия между двумя «племенами» делает это описание достаточно неправдоподобным – ученые и политики намного «ближе» друг другу, чем предполагается моделью. Почему же тогда граница между ними столь устойчива? Ведь случаи прямого вмешательства политиков – попытки непосредственно влиять на решение научных проблем, на само



содержание научного знания – в советской истории относительно редки, хотя и чрезвычайно разрушительны по последствиям. Почему сами ученые редко заходили на «территорию» политиков – даже в более мягкие времена немногие пошли по пути А. Д. Сахарова, и только ли в страхе здесь дело?

Возможно, на этот вопрос можно ответить, обратившись к ценностям, придававшим группе внутреннюю сплоченность и заставлявшим ценить и защищать собственные границы. Вопрос лишь в том, достаточно ли готовности ученых защищать свои ценности для объяснения устойчивости границ, если учитывать очевидное неравенство сил? Тут в дело вступает, по-видимому, заинтересованность – политиков в ученых и ученых в политиках. Все это приводит к модели негласного соглашения, или «пакта», как называет его Кожевников, о разграничении сфер компетенции, что никогда в советском обществе явно не обсуждалось, но было при этом абсолютно реальным. Вернее, говорить можно о серии сменяющих друг друга соглашений, которым посвящена практически вся 11-я глава книги Кожевникова. Об истории отношений интеллигенции и коммунистов, увиденной сквозь призму последовательно заключаемых «пактов», позволяют судить уже названия отдельных разделов главы: «Большевистский пакт со специалистами и его провал», «Сталинский пакт с интеллигенцией», «Послевоенные переговоры о власти», «Послесталинское урегулирование».

Границы между сферами ответственности политиков и ученых, существовавшие в Советском Союзе, Кожевников сравнивает с ранее сложившимися в Европе разграничениями между различными видами знания: научного, политического, религиозного, этического. Однако в Европе сами разграничения были и остаются общезначимой ценностью: сколько страсти было вложено в прошлом в дискуссии о науке и религии, о научном знании и метафизическом! В Советском Союзе на уровне официально провозглашенных, артикулированных ценностей все выглядело иначе: наука была «партийная», а идеология «научная». Поэтому, на наш взгляд, сравнение автора бьет мимо цели. Так что же, готовность политиков соблюдать границы – это прежде всего уступка практическим интересам, готовность пожертвовать ради них идеологией? Или же существующие границы говорят и о внутренней противоречивости (одновременно сложности, «неэлементарности») самой идеологии? Возможно, решившись пойти дальше по пути антропологического описания ученых и политиков – описания, как раз и предполагающего, что ценности и верования принимаются исследователем культуры всерьез, а не как заблуждение и идеологическое искажение реальности, – мы нашли бы у обеих сторон позитивный образ Другого.

Вера в «научность» идеологии кажется наивной, поскольку отдает допотопными философскими представлениями, но что мешает нам все-таки отнестись к этой вере всерьез? И если так, то важность научного исследования определяется не только его практическим значением, но и тем, что наука наделяется способностью выносить ценностно нагруженные суждения о «правде» и «неправде». Это говорит как будто о риске оставить науку «в чужих руках». С другой стороны, перед нами встает важнейший вопрос: в какой все-таки степени «научный характер» идеологии – способность партии выносить ценностные суждения на основе объективного исследования реальности –

нуждается в независимом, исходящем не от партии подтверждении? Пусть не в виде независимой экспертизы «коммунистической доктрины» как «науки» об обществе, что очевидно рискованно, а в намного более мягкой форме – как демонстрация того, что «объективные» исследования в области естествознания возможны под властью партии и высоко ценятся. В этом смысле речь, по-видимому, может идти о двух культурах, обменивающихся не только материальными, но и символическими дарами, об их взаимном признании.

То, что восприятие большевиками ученых определялось не только интересами, но и ценностями, образом значимого Другого, как будто подтверждается и тем, что нам известно о политике по отношению к специалистам вообще. После революции это отношение определялось стремлением использовать и усвоить их знания, не отделявшиеся, однако, от культуры, которую также предстояло «перенять». И после того как от замены «буржуазных» специалистов «красными» отказались, процесс этот мыслился не только как длительный по срокам, но и по природе своей представлялся скорее как конвергенция, постепенное взаимное сближение. Так, техническая интеллигенция стала, по утверждению К. Бейлза, в 1930-е гг. прообразом будущего бесклассового общества, мыслясь как своего рода модель сближения старых специалистов и рабочих-выдвиженцев, проникавших в инженерную профессию благодаря стахановскому движению и ускоренному инженерному образованию<sup>8</sup>. Очевидно, что речь при этом шла о создании новой социальной и культурной общности, а не об одностороннем поглощении, вытеснении одной культуры другой, что было, скорее, характерно для отношения к унаследованному от царской России «другому Другому» – крестьянину, «переработка» которого также должна была занять много времени, но культура которого при этом нацело отрицалась, противопоставляясь прогрессу.

Вынужденность сотрудничества с коммунистами ученых, скрепя сердце принимавших правила игры, поскольку история не дала стране другого правителя, ставит в то же время вопрос об их политических убеждениях. Мы до сих пор недостаточно знаем об эволюции их политических взглядов после неудачи демократической февральской революции 1917 г. и отказа от большевистского эгалитарного эксперимента 1920-х – начала 1930-х гг. Многие представители академической интеллигенции с энтузиазмом приветствовали, как отмечает в своей книге Кожевников, восстановление научных званий, академических иерархий и традиций, что в середине 1930-х гг. было частью восстановления «порядка» вообще, превращения советского общества в сталинское – намного более консервативное и иерархическое по сравнению не только со временем «культурной революции», но и с НЭПом. Возможно, многие специалисты сотрудничали с правительством и потому, что идеалом их была технократия, правительство экспертов, коммунистическое же правительство было, несмотря на все свои «глупости», все-таки ближе к нему, чем демократическое. Все это также выдвигает на первый план проблему ценностей, позволяя, на наш взгляд, задуматься о своего рода признании – восприятии учеными коммунистических политиков как значимого Другого.

---

<sup>8</sup> Bailes, K. E. *Technology and Society under Lenin and Stalin, 1917–1941*. Princeton, 1978. P. 316–318.

Приходится согласиться с исходным, высказанным в самом начале книги утверждением автора о том, что изучение социальной истории советской науки находится еще на ранней, начальной стадии, что объясняется в значительной степени методологическими трудностями – склонностью рассматривать советскую науку при Сталине как «особый случай», по сути нежеланием вписывать ее в мировой контекст развития науки в XX в. Ярким примером этого, по мнению автора, служит восприятие представлений К. Поппера о причинно-следственной связи между политической демократией и успешным развитием науки. С тех пор как «тезис Поппера» был высказан, его ограниченная ценность применительно к историческим исследованиям была хорошо осознана – как, например, объяснить с его помощью расцвет науки в абсолютистской Франции? Однако подобной переоценки не произошло в исследованиях (особенно западных) советской науки и техники – провалы прямо связывались с отсутствием демократии, а успехи оказывались достигнутыми исключительно вопреки диктатуре. Более того, когда книга Кожевникова увидела свет, она была парадоксальным образом воспринята как попытка опровергнуть то, что и так уже не пользуется признанием у историков мировой науки, как попытка найти в лице советской науки «убедительный контрпример» представлениям Поппера<sup>9</sup>.

По мнению автора, «особым случаем» советскую науку сделала «холодная война», заменившая пропагандистскими клише необходимость серьезного изучения. Как отмечается в заключении, антикоммунизм взял на вооружение предельно упрощенные представления критиков А. А. Богданова, как советских, так и западных, обвинявших его в том, что «буржуазную науку» он по сути дела хочет заменить коммунистической идеологией. Тогда как сам автор склонен рассматривать Богданова, скорее, как предшественника современного социального конструктивизма, подчеркивающего неразрывную связь «чистой» науки с политикой и идеологией. Идею атмосферу послереволюционного времени, когда под влиянием воззрений Богданова развивался Пролеткульт, нельзя сравнивать с более поздним этапом догматического сталинизма, и все-таки при всем желании представить сталинизм в виде внешней силы – мешающей или благоприятствующей развитию науки – связи между естествознанием и миром сталинской идеологии и политики были намного более тесными и многообразными, чем, может быть, хотелось бы думать многим историкам и ученым. Главная заслуга книги Кожевникова и заключается, на наш взгляд, в «нормализации» общей картины развития советской науки и возвращении ее в историю науки мировой.

Как всякое хорошее исследование, книга Кожевникова ставит перед читателем больше вопросов, чем дает ответов. Среди них вопрос о субъективности – насколько наши чувства и эмоции являются антагонистами исторической объективности. Книга лишена ложного пафоса, ибо написана «без гнева и пристрастия», как в общем-то и полагается историческому сочинению. Но при этом, справедливо рассматривая советскую науку как часть мировой, автор упускает и что-то важное, неотделимое от наших представлений о собственной истории. Страх, предательство, измена собственным убеждениям,

<sup>9</sup> Горелик. Великая наука Сталина... С. 114.

чудовищное унижение – подписание честными и благородными людьми постыдных писем – правильно ли не говорить об этих шекспировских страстях вообще, особенно в книге для иноязычного читателя? Отвергая «страсти» как мелодраму, мы делаем, как представляется, выбор в пользу предвзятости и даже несправедливости – избирательного прочтения истории. Сведения о поступках лучше сохранились, чем сведения об эмоциях, – чувства было опасно доверять бумаге, и люди скрывали их – даже в большей степени, чем мысли, – от других и, возможно, от самих себя. 18 ноября 1946 г. К. И. Чуковский оставил в своем дневнике запись: «У руководителей Союза писателей – очень неподвижные лица. Застывшие». Они могут «слушать вас часами и не выражать на лице ничего. Должно быть, это от привычки председательствовать». Но тут же отметит, что «лица русских людей» вообще менее склонны к выражению чувств – «в нынешнюю волевою эпоху»<sup>10</sup>. Возможно, мы узнаем об этом когда-нибудь подробнее, если об истории сталинского Советского Союза будет написано в жанре популярной ныне на Западе «эмоциональной истории», основное внимание уделяющей тому, как люди в разные эпохи и в разных странах переживали, выражали, интерпретировали свои чувства, вступали с ними в диалог.

Так неужели, единственная возможность быть субъективным и не отказываться от собственных эмоций заключается в том, чтобы вернуться к готовому, хорошо знакомому нарративу – моральному противопоставлению науки, облеченных в «белые одежды» ученых, с одной стороны, и сталинской политики, с другой? На наш взгляд, изучение социальной истории советской науки обнаруживает не только теоретическую несостоятельность подобного противопоставления, но и проблематичность связанного с нею «облегченного», мелодраматического взгляда на личную ответственность – несводимость ее к «правильному», очевидному выбору. Можно ли сказать, кто вел себя «правильно»: Д. Н. Прянишников, запрещавший 1937 г. по праву председателя «разоблачать вредителей» на научных заседаниях<sup>11</sup>, или С. И. Вавилов, не раз вынужденный произносить «постыдные», по выражению Кожевникова, речи, но сделавший по собственной воле чрезвычайно много для науки и для ученых? Отказ от очевидности не означает морального релятивизма, но возвращает ученому свободу выбора в условиях непредсказуемости его последствий. На смену мелодраме приходит трагедия, об этом также заставляет задуматься по-настоящему глубокая книга Кожевникова.

<sup>10</sup> Чуковский К. Дневники (1930–1969). М., 1969. С. 178.

<sup>11</sup> См.: Joravsky. The Lysenko Affair... P. 124.